

Л Е В К У З Ъ М И Н

Р2
К89



ЛЮБАШИН ДЕНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО „МАЛЫШ“, МОСКВА • 1979





Этой осенью Любаша пойдёт в третий класс, а росточком она—как самый крохотный первышонок. Из-за этого Любаша расстраивается и боится, что не вырастет совсем. Она то и дело бежит к дверному косяку, к зарубке, прижимается к ней затылком, поднимает обеими руками большое зеркало и смотрит: не подросла ли хоть чуть-чуть?

Но каждый раз выходит—не подросла, и Любаша горюет ещё пуще. Ей даже на свою румяную рожицу, на свои косички смотреть не хочется, и она со стуком ставит зеркало на комод.

Седая, сухонькая и всё ещё очень проворная бабушка Елизавета Марковна говорит Любаше:

— Да не жмись ты каждый-то день к зарубке, не жмись! Потерпи с годок, тогда разницу и увидишь... Это ты в нашу, в спицынскую, породу такая тихорослая, и горевать тут не об чём. Мал кувшин, да ёмок. Пускай ты у нас невеличка, да зато шустрая, как чижик-птичка. Зачем тебе быстрее расти? Успеешь, догонишь всех.

— Зачем, зачем...—сердится Любаша.—Ты, бабушка, попробуй сама поживи такой вот маленькой, тогда узнаешь зачем. А чижиком меня больше не называй, надоело. Из-за этого «чижика» мне и так нигде ходу нет.

И это суцая правда. Выйдет, например, Любаша зимой вместе с классом покататься на лыжах и только нацелится помчать с горки впереди всех, а заботливая учительница тут как тут:

— Стоп, Любаша Спицына, подожди! Пускай сначала другие съедут, а потом и твоя очередь. Ты у нас маленькая, совсем как чижик, тебя мальчишки догонят и нечаянно сшибут.

Летом в каникулы тоже не лучше. Не успеет Любаша в жаркий день прибежать на речку, не успеет кинуться в омуток, где плещутся все ребяташки, а кто-нибудь из больших девчонок уже кричит:

— Чижик-пыжик, ты куда? На глубокое не смей, не лезь! Лучше поплещись вот тут, у берега, а мы за тобой приглядим.

И в самом деле приглядывают, не отходят от Любаши ни на шаг.

Даже родители твердят без конца:

— Ты, доча, дрова на кухню охапками не таскай, а носи по одному полешечку...

— Ты, милый чижик, огурчики поливать поливай, да полную лейку в пруду не зачерпывай... Надсадишься.



И так каждый день: «Чижик, погоди! Чижик, не лезь! Чижик-пыжик, не твоя очередь!»

От великой обиды Любаша уходит за дом в огород, садится там на брёвнышко рядом с луковой грядкой и, подпершись ладонью, мечтает о том деньке, когда всё-таки вырастет и все станут её так же, как бабушку, называть по имени-отчеству, а не чижиком.

Она думает о том времени, когда наконец-то все будут её уважать. Уважать не так просто, а за какое-нибудь замечательное дело, и тогда, может, даже сам бригадир-полевод Иван Романыч Стрельцов подойдёт к ней и своим раскатистым басом проговорит: «Моё вам почтение, Любовь Николаевна! Добрый день! Разрешите пожать вашу трудовую руку».

Ведь Иван Романыч — это не просто бригадир. Он бригадир знаменитый. Про него рассказывали в школе на уроке, его портрет печатали в газете, и уж если он сам возьмёт да и назовёт Любашу по имени-отчеству, так это подхватит всё село. Все мальчишки подхватят, все девчонки подхватят и, вполне возможно, подхватят все учителя вместе со школьным директором...

Так думает Любаша, когда сидит в огороде и жуёт в одиночестве луковое пёрышко, когда на душе у неё грусть-обида на всех, в том числе и на отца с матерью. Но сейчас ни отца, ни матери дома нет. По горячей июльской поре они днюют и ночуют на дальних покосах, и Любаша с бабушкой живут самостоятельно.

Вечером бабушка подоила корову. Любаша вскипятила самовар, а потом они уселись пить чай у распахнутого окошка.

Свет не зажигали, и в сумерках деревенскую улицу было видеть далеко. Там дремали берёзы, в соседних домах уютно светились огни, пыль на дороге улеглась, и в окно из палисадника тянуло прохладой и тонким запахом огуречных листьев.



Все голоса и звуки стали очень чёткими. Было хорошо слышать, как на той стороне улицы, в своём дворе, бабушкина подружка Анна звякает подойником и негромко поругивает беспокойную Бурёнку, а на краю села, на школьной усадьбе, стучат по тонкому железу кровельные молоточки, переключаются строительные рабочие.

— Это они к первому сентября стараются... Вечеруют, дай бог им здоровья,— тихо сказала бабушка и налила себе в блюдце чаю из красной чашки.

Блюдце она подняла, утвердила на широко расставленных пальцах, подула и, отхлебнув разок-другой, вспомнила:

— В новой-то школе в третью группу пойдёшь. Взрослая становишься. По этому случаю надо тебе хороший подарок купить. В магазине я портфели видела, так ужю матери подскажу.

А Любаша тоже налила себе чаю. Только чашка и блюдце у неё были голубыми.

— Нет, бабушка. Портфель покупать не надо, я со старым похожу, а лучше купите мне туфли на каблуках.

— На чём?— так и поперхнулась бабушка.— На каких-таких каблуках?

— Да нет, нет! Не на модных! Не на самых высоких... А вот на таких. Чтобы я стала чуточку побольше.

И только Любаша собралась объяснить, на каких именно каблуках ей нужны туфли, как на улице затарахтело, чихнуло и смолкло под самым окном.

Бабушка и Любаша перевесились через подоконник и сразу увидели у тёмной калитки мотоцикл с коляской. В седле мотоцикла никого не было, но в сенях дома кто-то гулко затоптал.

И вот в дверь стукнули и, не дожидаясь ответа, вошли. Вернее, вошёл-то всего-навсего один-единственный человек,



но зато это был сам бригадир-полевод Иван Романыч Стрельцов.

Любаша ойкнула. Она сразу, даже в этих вечерних сумерках, узнала Ивана Романыча по его армейской фуражке, а главное — по голосу.

— Здравия желаю! — так громыхнул Иван Романыч, что лёгонькая, сутулая бабушка невольно подскочила за столом.

— Ну и голосина у тебя, Иван! Ты ведь не во своей армии... Так до смерти напугать нас с Любашей можешь.

— Это я нечаянно, по привычке. Дома третий год живу, а всё, ясно-понятно, пограничную заставу помню, — засмеялся Иван Романыч и добавил: — Вы что тут в потёмках сидите?

Бабушка выбралась торопливо из-за стола, пошарила по стене, щёлкнула выключателем, и Любаша увидела, что Иван Романыч с ног до головы весь седой от пыли.



Пыль — на сапогах, на плечах, на лаковом козырьке фуражки и даже на бровях.

Он и сам глянул на свои сапоги, развёл руками:

— Прости, Лизавета Марковна. Прямо с работы...

— Знамо, не с гулянки, — мигом простила бабушка и открыла буфет, сняла с полки третью чашку. С цветочками, праздничную.

— Садись, чаем угощу. Небось на лугах был? Поклон от наших привёз?

Но Иван Романыч скинул фуражку, быстро и вежливо наклонил голову:

— Угощаться некогда, а вот поклон тебе, Лизавета Марковна, привёз, это точно. Только не с лугов, ясно-понятно, а с поля от ребят-комбайнёров. Приглашаем тебя в бригаду, в повара.

Бабушка как стояла с чашкой в руках, так и замерла.

— Ты всерьёз?

— Ясно-понятно, всерьёз! — опять кивнул Иван Романыч, прижал к груди свою армейскую фуражку и торопливо заговорил о том, что на полях в Заложье началась уборка; о том, что хлеба там вызрели — аж звенят! — и комбайнёры поспешают изо всех сил; да вот, надо же такому случиться — бригадная повариха заболела, и людей теперь в поле целые сутки кормить будет некому... Если, конечно, не согласится Лизавета Марковна. Если, конечно, она сама не уважит ребят; а ребята-комбайнёры-то, ясно-понятно, все помнят её замечательнуюстряпню ещё с прошлого лета и все, ясно-понятно, ей низёхонько кланяются!

Иван Романыч говорил напористой да напористой и всё ближе да ближе подходил к бабушке. А бабушка отступала да отступала и вот села на лавку у самой стены:

— Ох, не знаю, Иван, не знаю...

— Бабушка, соглашайся! — пискнула из-за стола дрожащим от волнения голосом Любаша.

Ей-то самой так захотелось туда, в Заложье, где спелые хлеба «аж звенят!», что позови Иван Романыч не бабушку, а её, Любашу, так она бы и секунды не раздумывала, а подхватилась бы и побежала хоть сейчас вприпрыжку до самого Заложья. Она, Любаша, именно о таком вот важном деле и мечтала всю жизнь и, конечно, вновь тоненько пискнула:

— Я тоже согласная...

Но шумный, большой, занявший собою чуть не пол-избы бригадир на Любашу и не взглянул, а бабушка её голоса будто и не слыхала.

Бабушка сама до того разволновалась, до того разволновалась, что так вот и сидела с чашкой в руках и всё глядела в чашку, словно ответ на вопрос был написан где-то там, на самом донышке.

— На одни сутки, сказываешь?

— На одни...—поспешно кивнул Иван Романыч.—Туда и обратно в собственной карете домчу.

— Ну, ежели так...—вздохнула бабушка и поставила чашку на стол.—Ну, ежели так, утречком заезжай.

И опять вздохнула, но теперь было видно — вздыхает бабушка притворно, добрые глаза смеются. Тому, что решилась, она рада теперь и сама.

— А подомовничать Анну уговорю,—заклЮчила бабушка разговор.

— Пр-равильное решение!—опять на всю избу пробасил бригадир, надел фуражку и, щёлкнув каблуками, козырнул бабушке.

А потом он козырнул и Любаше.

Любаша покраснела, уткнулась носом в столешницу, а



когда глянула опять, то Ивана Романыча в избе уже не оказалось.

Под окном хлопнула калитка, опять затрещал мотоцикл. Гулкий трескоток стал удаляться и вот пропал, затих в дальнем конце улицы.

Улица теперь была ночной, синей. Там теперь и огни в домах погасли, и кровельщики перестали стучать, а над тихими деревьями зажглись звёзды.

Бабушка стала закрывать окно, и тут Любаша сказала:

— Завтра утром я тоже поеду в Заложье.

Бабушка стукнула оконным шпингалетом, подавила рукой на раму, проверила, заперлось ли, и спокойно ответила:

— Ну да... Поедешь... Только там тебя, чижа, и ждали... Там ведь, милая моя, надо не шутки шутить, а рабочих мужиков кормить. Знаешь, там хлопот сколько? Нет, нет, и не собирайся, и не выдумывай!

И тут всегда крепкая на слёзы Любаша заплакала:

— Эх, бабушка, бабушка! Я-то думала, ты со мною всегда по правде, а ты такая же, как все... Сначала говоришь: «Большая, почти взрослая!», а как до главного дошло, так опять — чиж. Ну и пусть! Пусть навсегда я чижом и останусь, и не надо мне никаких туфель-подарков, ничего не надо... Пускай теперь другие ходят в новых туфлях, пускай другие разъезжают на мотоциклах с колясками, пускай мужиков кормят, пускай хлеба убирают, а я... А я...

И Любаша заплакала так горько, что слёзы покатались по щекам, по подбородку, и одна слезинка капнула прямо в недопитый чай.

Бабушка такой грустной картины, конечно, не вынесла. Она подбежала к Любаше, обняла и принялась чистой изнанкой передника утирать мокрые Любашины щёки. Потом заставила высморкаться, сказала:



— Ну вот, а то сразу и реветь... Возьму я тебя, возьму. Утром с Иваном Романычем потолкую и возьму.

А наутро бабушка сама разбудила Любашу:

— Вставай, поторапливайся!

И Любаша так стала поторапливаться, что собралась даже раньше бабушки и выскочила босиком на крыльцо.

Прохладные ступени крыльца были ещё в тени. И весь палисадник был в тени. А от заплёснутой утренним солнцем школы опять долетал дробный стукоток молоточков. Любаша глянула туда и увидела крохотных, будто муравьёв, вчерашних кровельщиков. Они сидели на самом коньке, быстро взмахивали молоточками, и звон оттуда прилетал такой радостный, что Любаше захотелось крикнуть:

— Эге-гей! Здравствуйте! У меня сегодня тоже рабочий денёк. Я уже не чиж, я—бабушкина помощница, еду в поле мужиков кормить!

Крикнуть так Любаша, конечно, не крикнула, только подумала, но всё равно ей стало очень славно.

А тут донёсся и дальний голос мотоцикла. Сначала за яркими от солнца берёзами, где-то в переулке, словно бы заныл комарик, потом комарик превратился в басовитого жука, и вот из-за поворота выскочил и сам трескучий мотоцикл, а на нём Иван Романыч.

Бригадир тормознул у калитки и соскочил на траву. Лаконичный козырёк его фуражки сегодня сверкал. Даже старенький комбинезон на бригадире был свеж, а на боку у него висела полевая армейская сумка, и от всего этого Иван Романыч казался нынче очень строгим, очень похожим на командира.

Любаша как глянула на него, так сразу подумала, что весь её вчерашний уговор с бабушкой может пойти прахом, бригадир ещё всё может отменить, и заполошно крикнула:



— Ой, бабушка! Ой, скорее! Иван Романыч приехал.

— Иду-у... Слышу, слышу,— донеслось из избы, и бабушка там торопливо затопотала, но вышла она не вмиг.

В избе сначала что-то погромело, в избе сначала что-то постучало— похоже, платяной шкаф, похоже, ящики комода,— и вот хлопнула дверь, и вот в сенях заскрипели половицы, и бабушка наконец-то появилась на крыльце.

А вернее сказать, бабушка не появилась! Вернее сказать,

бабушка выплыла из тёмных сеней таким светлым-пресветлым корабликом — такой праздничный у неё был вид.

С ног до головы бабушка нарядилась во всё новое. На ней была длинная сатиновая юбка, белая кофта мелким горошком, передник в светлую голубую клетку; а на правой руке, чуть отставив локоток, бабушка бережно и важно несла корзину, увязанную сверху другим, запасным фартуком.

— Ух ты-ы! Прямо хоть на бал! — воскликнул Иван Романыч и распахнул калитку: — Прошу! Карета подана.

И хотя он сказал это шутливо, бабушка так вся и зарделась от удовольствия и медленно поплыла от крыльца к распахнутой калитке.

А Любаша забеспокоилась. Любаша всполошилась ещё больше: «Этак она и про меня забудет!» — и потянула бабушку за рукав:

— Скажи Ивану Романычу скорее, скажи...

— Не суетись, — ответила строгим голосом бабушка и остановилась у мотоцикла, принялась ощупывать в коляске крохотное сиденье. Ощупала, с большим сомнением покачала головой:

— Ну и карета у тебя, Иван! Зыбочка на одном колесе. Поди, вытряхнешь где-нибудь на колдобине?

Иван Романыч поставил бабушкину корзину в коляску, засмеялся:

— Не вытряхну. Да и колёс не одно, а, ясно-понятно, целых три. Небось хватит...

— Нам-то хватит, да куда помощницу посадишь? — ловко перевела разговор бабушка, и Любаша так вся и замерла.

«Сейчас бригадир скажет: какую помощницу? Что за помощницу? Эту вот, что ли? Беги, чижик, домой! Беги, беги, не задерживайся!»

А Иван Романыч и в самом деле сказал:



— Какую помощницу? Что за помощницу? Эту вот, что ли?
А ну, покажи, руки у тебя крепкие?
— Что? — удивлённо уставилась Любаша на бригадира.
— Я спрашиваю, руки у тебя крепкие?
— Крепкие, крепкие! Очень крепкие!
И Любаша вскинула руки, стиснула их в кулачки:
— Вот какие крепкие!
— Ну, тогда ясно-понятно. Тогда садись позади меня и держись.

Иван Романыч топнул по стартёру, мотоцикл фыркнул, заржал, словно весёлый жеребёнок, и рванулся с места.

Бабушка в «зыбочке» ахнула, обняла корзину. Любаша ухватилась за ручку седла, припала щекой к спине бригадира и увидела, как помчалась назад вся сельская улица.

Мимо Любашы понеслись берёзы, крыльца, окна, лужайки, совхозная контора, магазин, а из-под самой коляски с дороги сорвался рыжий петух, и взлетел на крыльцо магазина, и что-то заорал там сквозь грохот мотоцикла, наверное: «Батюшки! Спасите! Караул!».

Так быстро Любаша никогда не ездила. У неё обмирала душа, щекотало в пятках, но было это не от страха, а от огромной радости.

Радостным ей теперь опять казалось всё, опять, как в ту минуту, когда она стояла на прохладном крыльце и слушала, как взлетает над школьной крышей весёлая музыка молоточков. Она и сама теперь словно бы летела, и весь мир летел ей навстречу.

Он был очень добрым, этот утренний мир. По голубому небу неслись белые, удивительно светлые тучки. Зелёная земля во все стороны от дороги то медленно поднималась холмами, то вдруг раскрывалась пологими овражками. В глубине овражков держался лёгкий туман. Невдалеке из тумана





выходило пёстрое стадо. Коровы щипали траву, а заслышав мотор, поднимали большие влажные морды, и даже отсюда было видно, какие добрые у них глаза.

И телята рядом с коровами были очень добрые, и пастух, который сидел на карей лошадке верхом, был тоже очень добрый. Он столбиком привстал в стремях и помахал Любаше.

И тут Любаша сразу подумала, что она, летящая на мотоцикле, наверное, выглядит со стороны совсем как настоящий, поспешающий на работу рабочий человек, и смело подняла руку, ответила пастуху. А потом догадалась: «Это не мне он машет, а машет Ивану Романычу. Но и всё равно это всё очень и очень чудесно, потому что это ведь ведь из-за Ивана



Романыча мне так сегодня хорошо, и там, в поле, мы с бабушкой обязательно для него постараемся».

А бабушка по сторонам даже и не смотрела. Она прижимала к себе одной рукой корзину, другой ухватилась за борт коляски, и так вся и пригнулась к ветровому стеклу. Платок у бабушки сбился, кофта надулась пузырьём. Испуганной бабушке, наверное, казалось, что ветер вот-вот выхватит её из коляски и унесёт, как пушинку, неведомо куда. Но мало-помалу мотоцикл сбавил ход, нырнул по пыльной колее в лес, а потом выскочил из-под тёмных елей на солнце, и от света и простора у Любаши зарябило в глазах.

Здесь небо синело ещё ярче, а вокруг, куда ни глянь, золотилась рожь.

Комбайны здесь работали уже вовсю. Их было три. Огромные, грохочущие, бурые от пыли, они ползли прямо на зыбкую стену хлебов. И высокая рожь покорно сгибалась им навстречу, падала на широкие жатки, и там, где комбайны прошли, поле становилось колючим и ровным, словно подстриженным под машинку. Лишь копны соломы почти до горизонта светло желтели на нём.

Иван Романыч сбросил газ, и мотоцикл покатился совсем тихо. Но если бы мотор и трещал изо всех сил, то в грохоте комбайнов его не было бы слышно.

Когда мотоцикл и первый комбайн поравнялись, Иван Романыч поднял руку, приветливо помахал, а потом показал на бабушку: «Смотри, кого я к вам привёз!» — как бы сказал он комбайнёру.

Чёрный, весь обгорелый на солнце комбайнёр вовсю засверкал улыбкой и глубоко с высокой площадки поклонился бабушке.

Бабушка приосанилась, тоже хотела поклониться, да кланяться в коляске было некуда: на коленях, чуть не упираясь в бабушкин подбородок, стояла высокая корзина. А навстречу двигался уже второй комбайн.

И опять Иван Романыч взмахнул рукой, и опять, как бы чуточку хвастаясь, показал на бабушку.

«Ну и ну! — улыбнулась Любаша. — Бабушку-то мою как встречают... Даже завидно. Меня бы вот так! Но ничего, ничего, придёт и моё время».

И только Любаша так подумала, как от самого дальнего, от третьего, комбайна к дороге помчалась грузовая полная зерна машина. Она лихо перескочила дорожный кювет, тяжёлый кузов подбросило, зерно плеснулось через борт на землю, и бригадир в седле мотоцикла даже привстал:

— Э-эх!





— Господи! Что делает супостат! — охнула бабушка, а Иван Романыч сердито крутанул руль — поставил мотоцикл поперёк дороги.

Машина остановилась. Из кабины остолбенело смотрел на Ивана Романыча молоденький шофёр. У него там, в кабине, на тоненькой цепочке покачивался игрушечный утёнок с круглыми удивлёнными глазами, и у шофёра глаза были точно такие же — очень удивлённые.

Шофёр распахнул дверцу, выскочил:

— Чё такое, чё? Стряслось чё-нибудь?

— Стряслось, — ответил Иван Романыч.



Он грозно нахмурился, и Любаша загодя пригнулась: «Сейчас как закричит!»

Но Иван Романыч не закричал, а только шумно, всей грудью вдохнул воздух, шумно выдохнул и взял этак бережно, двумя пальцами, шофёра за кармашек цветастой рубахи:

— Случилось, Петенька-дитяtko, случилось... Ты скажи, хлеб в магазине буханками берёшь?

— А чё? Буханками! Как день, так три буханки... Семья у нас великущая, аппетит у всех — будь здоров. А чё?

— Ни «чё», милый! Пока ни «чё»... В магазине буханки считать умеешь, теперь пойдём считать их на дороге.

— На какой дороге? Я тороплюсь! — попробовал освободить рубаху шофёр, но Иван Романыч рубаху не выпустил, а прямо так, за кармашек, и повёл Петеньку к тому месту, где расплеснулось по траве зерно.

— Любуйся, милоч, считай буханки. Да пока не твои собственные, а пока, ясно-понятно, государственные.

Шофёр почесал кудрявый затылок, развёл руками:

— Ну-у, Иван Романыч... Ты из-за этого? А я-то думал, беда... Ну, газанул! Ну, просыпал малость! Так ведь спешка... Сам знаешь, где пироги едят, там крошки летят.

Петенька, похоже, совсем успокоился. Он даже подмигнул бригадиру:

— А в общем, я ещё молодой! А в общем, я ещё исправлюсь! Дай дорогу, мне ехать надо.

И тут Иван Романыч опять прежним тихим голосом, но только медленно, очень медленно, чуть не по слогам сказал:



— Нет, не по-е-дешь. Сначала подберёшь «крошечки».

— Так лопаты нет,— улыбнулся было Петенька.— Нету! Не чем собирать.

Он показал пустые ладони, весело глянул на Ивана Романыча, да тут же и осёкся:

— Ты что? Вы что? Я сейчас... Я мигом.

Петенька даже и чёкать перестал, и на «вы» перешёл, и, сдёрнув с головы кепку, присел на корточки, быстро-быстро пригоршнями начерпал в кепку зерна и помчался к машине.

Ужасно сердитый Иван Романыч стоял, не говорил ни слова. Бабушка с Любашей тоже притихли. А шофёр всё черпал, всё бегал туда и обратно, торопливо объяснял:

— Я, Иван Романыч, не видел... Я, Иван Романыч, кабы видел, так сам бы остановился и подобрал... Я нечаянно, вы не думайте.

А когда всю рожь собрал, то спросил:

— Ну, я поехал?

Бригадир молча откатил мотоцикл с бабушкой и с Любашей в сторону. Шофёр хотел помочь, да бригадир ему не дал. Тогда шофёр тяжело-претяжко вздохнул и полез к себе в кабину. Игрушечный утёнок там давно покачиваться перестал, вид у него был тоже сконфуженный.

А у Любаши пропало праздничное настроение. Она робко поглядывала на сердитого Ивана Романыча, и на душе у неё было так, как будто это и не Петенька виноват во всём, а она сама.

Лишь бывалая бабушка сохраняла спокойствие. Когда грузовик осторожно тронулся с места, а хмурый бригадир опять взялся за руль, бабушка сказала:

— Успокойся, Иван! Петька-то и в самом деле молодой, потому и маховитый. Ещё наживёт ума, поправится.



Потом тихо рассмеялась:

— Нас поскорей вези. А то проштрафимся и мы с Любашей. Комбайны по второму кругу идут, а мы всё ещё не на месте.

Комбайны и в самом деле заходили на второй круг. Они обошли поле со стороны леса и теперь поднимались к дальнему пригорку, над которым темнела какая-то кровля и макушки старых рябин.

Иван Романыч глянул на пригорок и ответил всё ещё хмуро:
— Место вот оно...

Потом опять шумно вздохнул и только тогда успокоился:
— Вы у меня никогда не проштрафитесь!

Заложье, куда привёз бригадир новую повариху с помощницей, было когда-то маленькой деревенькой, но теперь все здешние жители перебрались на центральную усадьбу, в Любашино село, и от Заложья осталось только название местности, да колодезный сруб весь в крапиве и в лопухах, да старый замшелый амбарчик.

Вокруг амбарчика поднялся густой, весь в оранжевых гроздьях рябинник. Под ним стоял самодельный стол и маленькая печка с чёрною самоварной трубой. Бригадир подкатил прямо к печке.

— Вот и приехали!

— Приехали с орехами,—подтвердила бабушка и, побряхтывая, зашевелилась в тесной коляске, стала выбираться.

А Иван Романыч тут же и заспешил:

— Ну, я помчался. К комбайнам помчался!

И он в самом деле побежал, забухал сапогами по тропке, потому что комбайны вновь разворачивались, заходили на третий круг.

Бабушка смахнула со стола рябиновые увядшие листья, подняла корзину, распустила запасной фартук:



— На-ка, примерь...

Фартук оказался длинён, да зато был в голубую клетку,— не хуже, чем у самой бабушки. А когда Любаша повязала его и сверху подвернула, то и по длине он стал почти в самый раз.

— Умница,— похвалила бабушка.— Теперь можно и начинать...

И они начали.

Перво-наперво бабушка отправила Любашу в полутёмный амбарчик, и она там навывбирала из мешка в кастрюлю молодой картошки.

Сама бабушка сходила к колодцу и принесла полное ведро воды.

Потом они вынесли кастрюлю с картошкой на лужайку, бабушка плеснула в неё из ведра, нашла в дровах палку и давай этой палкой картошку крутить. Покрутила, покрутила, грязную воду слила, добавила чистой и опять принялась крутить.

Бурая картошка стала сначала светло-розовой, потом белой, а когда начали выбирать картофельные глазки, то и Любаша от бабушки не отставала: бабушка ковырнёт ножиком мокрую картошину—и Любаша ковырнёт; бабушка кинет картошину в другую, в чистую кастрюлю—и Любаша кинет.

Картошина за картошиной—плюх да плюх!—падали в воду, вода из кастрюли брызгала на стол и протекала в широкие щели столешницы. А там, под столом, пушились тёплые шары одуванчиков. Они щекотали Любашины пятки, над головой шелестели рябины, и к Любаше опять пришло доброе, ласковое настроение. Она сказала:

— Ох, бабушка, бабушка, как хорошо, что ты взяла меня в поле... Спасибо тебе, бабушка!

Бабушка вся так и засветилась от Любашиной похвалы, от глаз у неё побежали весёлые лучики-морщинки.



— Я сама в поле-то ездить люблю. Мне самой тут славно. Была бы помоложе, запела бы.

— А ты, бабушка, и сейчас спой.

— И спою...

Бабушка улыбнулась и вдруг тонким-тонким, дрожащим голосом запела:

Ехал Ваня с я-ярмонки

Да заехал в яблоньки.

Соловей, соловей во саду,

Канареечка во зелёном —

Тёх-тере-рёх!

Яблоньки садо-овые,

А груши медо-овые.

Соловей, соловей во саду,

Канареечка во зелёном —

Тёх-тере-рёх!

— Ой, бабушка! — засмеялась Любаша. — Какие ты песенки знаешь, я и не думала!

— Мало ли чего ты не думала. Ты думала, бабушка-то всегда старая была... Вот погоди, придут с поля комбайнёры, так здесь и не то будет. Комбайнёры — страсть весёлые! Я для них сальца домашнего привезла. Сальце порежем, на сковородке растопим, а как наши мужички заявятся, так мы им сразу на стол горячую картошку да эту сковородку со шкварками и выставим.

— А шкварки будут шипеть, — подхватила Любаша, — а комбайнёры будут горячую картошку макать и всё приговаривать: «Ай да вкуснота! Ай да Лизавета Марковна! Ай да Любовь Николаевна!»

— Хвастё-ёна... — засмеялась бабушка. — Давай-ка бери ведро, чистой воды принесём. Чистая вода кончилась.

Бабушка подняла кастрюлю с картошкой, понесла в сторонку сливать, а Любаша подхватила пустое ведро и, бренча на всю лужайку, припустила к колодцу.

Обросший лопухами сруб колодца был невысокий, с откидной западнёй. На столбах над ним навис толстый деревянный ворот с тяжёлой цепью, с железной рукояткой. Любаша встала на цыпочки, заглянула в колодец. Там было холодно, пахло грибами и плесенью.

— Ау! — крикнула громко Любаша в колодец, и кто-то неведомый ответил оттуда густым-прегустым, словно у Ивана Романыча, басом:

— Бу-у...

— Эге-гей! — снова крикнула Любаша в колодец, и колодец ответил ещё басовитее:

— Э-бе-бей-бей-бей...

— Ты что там делаешь! Упадёшь! — зашумела издали бабушка, и Любаша заторопилась, потянула к себе



тяжёлую цепь, стала втискивать дужку ведра под стальную пружину защёлки.

Защёлка больно прихватила палец, и Любаша вскрикнула: «Ох!»

Она вскрикнула, отдёрнула руку, и ведро полетело вниз.

Стронутая с места цепь тоже полетела со звоном вниз. И толстый ворот закрутился, рукоять ворота завертелась, и вот внизу, в колодце, шумно ухнула вода, и... всё стихло.

Бабушка—откуда только прыть взялась—подскочила к вороту, крутнула рукоять обратно.

Скрипучий ворот повернулся легко, цепь стала наматываться легко—там внизу, на цепи, никакой тяжести не было.

— Господи!—так и села бабушка на край колодца.— Господи! Любка! Ты же ведро утопила...

— Как?—сказала Любаша и почувствовала вдруг, что по спине у неё побежали, побежали холодные мурашки.

— Как так?—повторила она, косички её поднялись торчком, а у бабушки побелели губы. Бабушка едва выговорила:

— Чем теперь воду-то доставать, а?

— Может, другим ведром?—прошептала Любаша.— Я сбегая...

— Так нет второго... Нет! Одно было. Единственное.

И бабушка сорвалась с места, обежала вокруг колодца, заглянула в него, взялась за сердце и опять села.

— Что буде-ет! Что буде-ет! Вот тебе и допелись, дохвтались... Скоро мужики придут, а вода где? А еда где?

— Кастру-улей достанем...—растерянно прогудела Любаша, совсем таким же голосом, как тот голос, что недавно гудел в колодце.— Там, на кухне, кастру-у-ля ещё есть.

— «Кастру-уля!»—сердито передразнила бабушка.— Наказанье ты моё, вот ты кто! Неси, попробуем.



К колодцу бабушка Любашу больше не подпустила. Охая и всё повторяя шепотком: «Господи, господи...», она сама продела сквозь обе ручки кастрюли цепь, сама опустила кастрюлю в колодец. Кастрюля съезжала набок, её неудобные ручки скользили по цепи, и воды в ней оказалось на донце.

— Вот так!—сказала бабушка.—Теперь будем таскать в час по чайной ложке, а время-то всё идёт, не ждёт. Бери, нескладёна, неси, выливай в картошку. У меня ноженки отнялись...

И Любаша всхлипнула, обняла мокрую, всю в печной копоти кастрюлю и побрела по тропинке на кухню.

Сходить туда и обратно пришлось не единожды. Сарафан и нарядный голубой фартук промокли, испачкались. Бабушка тоже вся уплескалась, отвязывая и привязывая несподручную кастрюлю, но вот, наконец, Любаша сказала робким голосом:

— Уже всё... В картошку хватит, это в последний раз.

— «В последний!»—сердито переговорила бабушка.—Ещё намаемся, наревёмся до последнего-то... Мужики придут, умыться спросят, да ещё и обед надо варить, и ужин варить.

Она забрала кастрюлю сама, пошла на кухню через лужайку. Любаша поплелась рядом. Там бабушка с громким стуком, всё ещё в сердцах, поставила кастрюлю на стол.

— Что теперь Ивану-то Романычу скажем? Он ведь не похвалит, нет.

А Любаша и сама знала, что не похвалит. За что ему теперь Любашу хвалить? Не за что.

Она села на скамейку, вздохнула, но бабушка сказала:

— Вздыхать нечего, берись за дело. Аханьем да воздыханием беды не исправить.



И Любаша принялась за дело, да только теперь у неё всё валилось из рук. Стала доставать из корзины соль, чуть не опрокинула банку. Стала вынимать спички из коробки— спички рассыпала.

— Сама управлюсь. Ладно...—махнула бабушка и сама растопила печку, сама поставила картошку на огонь, сама принялась резать на сковородку розовое, крепкое сало. А Любаша прислушивалась к гулу комбайнов, думала об одном:

«Вот придут сейчас комбайнёры, придёт Иван Романыч, про всё узнает и сразу скажет: «Ну, ясно-понятно! Никакая ты не Любовь Николаевна, а как была чижиком, так чижиком и осталась. У тебя только и уменя, что государственные вёдра в колодце топить!» Он прямо так и скажет—государственные!—как сказал шофёру Петеньке про буханки. И, наверняка, так же вот потом нахмурится и сердито замолчит, и куда ей, Любаше, тогда деваться? Хоть пешком уходи обратно в село...

Но в селе, наверное, давно известно, что Любаша уехала с бабушкой кормить комбайнёров. И, конечно, кто-нибудь да и спросит: «Ну как? Накормила? Съездила?», и это будет уже совсем великая-превеликая стыдобушка».

Она поглядела в ту сторону, куда убегала дорога. Там, за жарким полем, стоял хмурый лес. За лесом подымались голубоватые холмы, и на одном, на самом далёком, холме чуть виднелись крошечные домики села, и Любаше стало от этого ещё тоскливее.

А шум комбайнов нарастал. Они подходили к самой околице. Теперь хорошо было слышать, как гремят перегретые на солнце моторы, и вдруг они смолкли, настала тишина, и бабушка сказала:

— Приехали!

Сердце у Любаши оборвалось, Любаша бросилась бежать.

— Куда ты?—закричала бабушка, да Любаша даже и не оглянулась.

Она мчалась изо всех сил.

Длинный фартук распустился, мешал ей, она наступила на него, чуть не упала, но лишь взмахнула руками и помчалась дальше.

Она бежала всё шибче и шибче прямо к комбайнам.



И вот перелезла старую изгородь, а навстречу ей уже шагал Иван Романыч, а за Иваном Романычем — комбайнёры, и даже Петенька-шофёр был тут.

Все пятеро улыбались Любаше ещё издали, но она зажмурилась, остановилась, подхватила фартук и, почти задохнувшись, крикнула:

— Я ведро утопила! Государственное! На кухне воды нет.

Иван Романыч улыбаться перестал. Комбайнёры улыбаться тоже перестали. А кудрявый Петенька испуганно спросил:



— Чё? И шамовки никакой нету?

Любаша хотела сказать, что есть, но дыхание у неё перехватило, и она только стояла, да комкала в руках фартук, да моргала мокрыми ресницами.

Иван Романыч оглянулся на комбайнёров, пожал плечами:
— Ничего не понимаю...

Комбайнёры тоже пожали плечами. Они все растерянной Любаше показались одинаковыми. Все—в кирзовых сапожищах, в пыльных брюках, в мокрых от пота майках; руки, плечи обожжены солнцем. Только голова у каждого была покрыта по-разному. На одном—татарская тубетейка, на другом— соломенная шляпа, на третьем—ситцевая шапочка с целлофановым козырьком.

Они переглянулись молча, а Иван Романыч легонько повернул Любашу за плечо, подтолкнул назад к изгороди:



— Ясно-понятно, что ничего не понятно. Кухня-то всю дымит, работает. Пошли, разберёмся на месте.

Бригадир шагнул через изгородь, Любаша перелезла за ним, побежала следом. Фартук всё время спадал, она его подхватывала, а Иван Романыч шагал быстро, и комбайнёры шагали тоже очень быстро.

Из-под ног у них взлетали с сухим треском кузнечики. Комбайнеры шли прямо к рябинам, к бабушкиной кухне. А бабушка их тоже увидела и, морщась от печного жара, засуетилась, подхватила тряпкой сковороду, понесла к столу.

Петенька потянул носом воздух:

— Ого! Шкворками пахнет!

— Не шкворками, а шкварками,— поправил Петеньку комбайнёр в ситцевой шапочке.

Поправил, сразу повеселел и гулко хлопнул здоровенной ладонью Петеньку по спине:

— А ты боялся, «шамовки» нет... Как так нет, когда кухарит сама Лизавета Марковна?

Петенька дурашливо присел, раскинул руки и на полусогнутых ногах, гусем, пошёл к бабушке:

*Лизавета Марковна,
Миленький дружок!
Шкварок нам нажарила
Целенький горшок!*

И тут засмеялись все. И даже Любаша не то громко всхлипнула, не то засмеялась.

Бабушка схватила со стола полотенце, шлёпнула Петеньку по кудрявой голове, тот изобразил ужас, повалился на скамейку, замахал руками, ногами:



— Ое-ёй! Ое-ёй!

А бабушка всё нахлёстывала и всё приговаривала:

— Вот тебе, вот тебе... Вечно ты, Петенька, дуришь! Вечно у тебя шуточки! Какой горшок, когда сало на сковородке...

И было видно, что бабушка очень рада Петенькиной шутке, что шутка пришлась к месту, потому что и сам Иван Романыч стоял теперь да смотрел на Петеньку с бабушкой и тоже посмеивался.

Потом он кивнул на Любашу, негромко спросил:

— Что хоть случилось-то?

Бабушка сразу принялась вытирать кухонным полотенцем совершенно чистый стол:

— Дак ведро потопили... Воду кастрюлей таскали... Вон той вот. Прямо и смех, и грех.

Она подняла голову и виноватыми, жалостными глазами тоже показала на Любашу:

— Ты уж, Иван, прости её. Не ругай.

А Иван Романыч всё слушал да слушал бабушку, всё усмеялся да усмеялся помаленьку и вдруг сел на скамью рядом с Петенькой и захохотал во всю мочь.

— Ну и ну! Только-то! Я а думал нивесть что...

Он утёр ладонью мокрые от смеха глаза, поманил к себе Любашу:

— Иди-ка сюда, паникёрша, иди... Значит, расстроилась? Очень?

— Угу,— потупилась Любаша.

— Не горюй. Сейчас мы это дело поправим.

Он весело глянул на комбайнёров.

— Кто у нас по таким делам мастак? Ведро надо из колодца вытащить.

— Так пара пустяков!—сказал комбайнёр в тубетейке.



— Так надо жердь подлинней да гвоздь поострей!— сказал комбайнёр в шляпе.

А комбайнёр в ситцевой шапочке ничего не сказал. Он повернулся, побежал к изгороди, снял длинную жердь, а его товарищи нашли у печки топор, со скрипом выдрали из косяка амбарчика старый гвоздь, и вот комбайнёр в шапочке— раз-два!—вогнал гвоздь топором в жердь и помчался с нею к колодцу.

Он управлялся с огромной жердью, как с карандашиком. Он опустил её в колодец, пошарил, закричал:

— Есть!

А потом, звонко шлёпая ладонями, стал жердь перехватывать, подымать и вот отбросил её, и в руке у него засверкало мокрое ведро, и с ведра полилась вода, потому что было оно полным-полнёхонько!

Легко, не расплескав ни капли, комбайнёр донёс ведро до Любаши, поставил на траву.

— Принимай, да больше на колодец не ходи— ты ещё маленькая.

— Нет! Ничего не маленькая!— вдруг очень громко сказал Иван Романыч.— Ничего не маленькая! Она— работница, она— заботливый человек. Она воду-то для нас кастрюлей таскала, она одного страху тут сколько натерпелась, другой бы на её месте прятаться побежал, а она— к нам. Она посчитала: «Это я сама за всё в ответе и прятаться не хочу!» Нет и нет, она очень даже большая и, ясно-понятно, очень даже толковая.

И тут Иван Романыч взял со стола кружку, почерпнул воды, протянул Любаше и, нисколько даже не усмехаясь, попросил:

— Слей-ка мне, пожалуйста, на руки, Любовь Николаевна!

Шофёр и комбайнёры тоже подошли, тоже подставили свои ладони; и каждый из них тоже сказал:

— И мне, Любовь Николаевна, и мне... Приезжай нам помогать и на будущее лето.



9 900002 131010





Для младшего школьного возраста

Лев Иванович Кузьмин

ЛЮБАШИН ДЕНЁК

Художник М. Петров

ПОВЕСТЬ

ИБ № 689

Редактор Л. Кузнецова. Художественный редактор Г. Крюкова.

Технический редактор Н. Житенева. Корректор Н. Шадрина.

Сдано в производство 14.06.78. Подписано в печать 03.05.79. 84×108/16. Бум. офс. № 1. Печ. офс. Журн. Усл. печ. л. 5,5. Уч.-изд. л. 3,72. Тираж 150 000. Изд. № 5367. Заказ № 430. Цена 30 коп. Издательство «Малыш», Москва, К-55, Бутырский вал, 68. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглаволиграфпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

Набор изготовлен автоматизированной системой «Союз» на ЭВМ «Минск-32».

К 70802—069
М102[03]—79 70—79

©Издательство «Малыш» 1979